

М. Е. Салтыков-Щедрин

**Господа ташкентцы.
Картины нравов**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

Салтыков-Щедрин М.Е.
С16 Господа ташкентцы. Картины нравов / М. Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 284 с.

ISBN 978-5-458-04198-0

Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения., Его дар явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова Щедрина., Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения., Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные., В десятый том вошли произведения под общим названием: "Господа ташкентцы", "Дневник провинциала в Петербурге, незавершенные замыслы и наброски"

ISBN 978-5-458-04198-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

ОТ АВТОРА

Исследование о «Ташкентцах» распадается на две части: "Ташкентом приготовительного класса" и "Ташкентцы в действии". Настоящим томом оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное целое. Я отнюдь не имею претензии утверждать, что в представляемых здесь вниманию читателя параллелях исчерпывается все, что могло бы подойти под эту рубрику, но ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов «ташкентства», то работе моей, пожалуй, не было бы конца. Притом же в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности. Поэтому первую часть я посвящаю биографическим подробностям героев ташкентства, а во второй — на сцену явится самое "ташкентское дело", в создании которого примут участие действующие лица первой части. Ввиду этого я нашел, что привлечение слишком большого количества элементов, хотя и однородных по своим целям, но крайне разнообразных в своих проявлениях, могло бы загромоздить мой труд множеством лиц, связь между которыми, быть может, представилась бы читателю не вполне ясною. Тем не менее я сознаю, что отсутствие некоторых типов (как, например, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляет пропуск очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя с этими типами во второй части, выводя их постепенно, в роли эпизодических лиц.

-

ВВЕДЕНИЕ

В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, "необыкновенно ясно и дельно" изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором "Торквато Тассо" столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: "Прикажут — завтра же буду акушером".

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказаний». Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут — и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.

По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите — и мы изумим мир дерзостными поступками.

Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести». «Свежесть», в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вождедеющий, — это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с «свежим» человеком какого-нибудь «умника», — и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. "Умник!" — ведь это засоренная голова! Это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!

Это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу «свежесть» паче зеницы ока. Мы твердо помним, что от нас ожидается какое-то "новое слово", а для того, чтоб оно сказалось, мы не полагаем никаких других условий, кроме чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условие потому хорошо, что оно общедоступно, а сверх того, благодаря ему все профессии делаются безразличными. Человек, видевший в шкафу свод законов, считает себя юристом; человек, изучивший форму кредитных билетов, называет себя финансистом; человек, усмотревший нагую женщину, изъявляет желание быть акушером. Все

это люди, не обремененные знаниями, которые в «свежести» почерпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут и средства для их осуществления.

Практика — это тоже своего рода божество, которое выведет их из умственного оцепенения и даст смысл их невнятного бормотанию. Там, в этой насыщенной азбучными испарениями атмосфере, среди недомолвок, справок, противоречий и колебаний, они, кроха по крохе, соберут себе сокровище гораздо более прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Там, на боках Петров и Иванов, юрист уяснит себе понятие о мере наказаний; там финансист воочию убедится, что кредитные билеты сами хорошо знают карманы, в которых им быть надлежит. И не утратят они при этом ни единой капли «свежести», ибо при конце профессионального поприща пребудут столь же свободны от наук, как и при начале оно.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вера в силу природной талантливости действительно делала чудеса. Приходил человек совершенно свежий и начинал орудовать. Писал законы, устанавливал порядки, и даже доводил «вверенную» часть до идеального совершенства. Не только подчиненные, но люди совсем посторонние — и те говорили: "Да, этот человек не то что X, или Z. Этот человек — *подтянет!*" Где тайна этого волшебства? Очевидно, ее следует искать или в неизреченной наглости "свежих людей", или же в том, что самые «вверенные» части столь уже просты, что расступаются даже перед людьми, совсем не поврежденными науками.

Первое предположение, очевидно, не выдерживает никакой критики. Наглость, выступающая вперед только по приказанию, — вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объяснением для жизненных явлений. Гораздо правильнее остановиться на простоте "вверенных частей", тем больше что здесь приходит к нам на помощь и практика со своими истинно поразительными подтверждениями.

Один знатный иностранец, посещавший Россию во времена Петра Великого (предоставляю любителям отечественной старины догадаться, кто этот путешественник), рассказывает следующее: "Несмотря на совершенные сим государем преобразования, процесс, посредством коего управляется здешний народ, столь прост, что не требует со стороны администратора ни высокого ума, ни познаний. Я, по крайней мере, лично знал одного наместника, который был да такой степени простодушен, что однажды, по недоразумению, откусил свой собственный палец, но и за всем тем оказывался вполне удовлетворительным для выполнения тех задач, которые ему предстояли. Каждый день перед ним клали известную порцию бумаг, и ежели эта порция случайно уменьшалась, то он примесно начинал беспокоиться, упрекал подчиненных в нерадении и требовал усугубления рвения. С течением времени он до того вошел в свою роль, что сделался даже прихотливым. Заметил, что ему подают только коротенькие бумаги, и стал требовать длинных; потом и сим не удовлетворился, но велел сочинить статистику, которую, по изготовлении, подписал и отправил. Таким образом, с помощью одного очень простого приема, называемого по-здешнему *подтягиванием*, этот плохой и даже глупый человек прожил несколько лет и умер в звании наместника естественною смертью".

Поверить этому рассказу очень возможно. Всякий из нас знал на своем веку

и неутомимых статистиков, и пребодрых финансистов, которые ничего не имели за душою, кроме чистого сердца и не вполне поврежденного ума, — и за всем тем действовали. Каким образом могли действовать эти чистосердечные люди? Каким образом могло случиться, что только естественная смерть освобождала их от тягостей лежавшего на них бремени? Что означает этот факт?

По моему мнению, он может означать одно: простоту задач. Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени. X. взывал об удовлетворении, но в глазах людей профессии он не существовал как живое лицо, а существовало лишь "дело об X., ищущем удовлетворения". Z. томился в тюрьме, но и он как живое лицо был неизвестен, а известно было только "дело об Z., томящемся в тюрьме". Речь шла не об действительной участи людей, а о решении уравнений с одним или несколькими неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояния теней, то они и сами начинают сознавать себя тенью, и в этом качестве делаются вполне равнодушны к тому, какие решаются об них уравнения и какие пишутся статистики. Вот тут-то и наступают их «свежие» люди. Сначала они совестятся и довольствуются только простыми уравнениями; потом делаются дерзкими и начинают требовать статистик. Какие плоды приносит их подтягивательная деятельность — они не знают, да и знать, по правде, не нужно, потому что, наверное, она никаких плодов не принесет. "Все равно, братцы, помирать!" — говорят люди, и действительно начинают помирать, как будто и невесть какое мудрое дело делают.

И что всего удивительнее, эта «свежесть» допускалась не только в области деятельности спекулятивной, но и в области ремесл, где, по-видимому, прежде всего требуется если не искусство, то навык. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему делались? — а потому, очевидно, что требовались только *простые сапоги, простое платье, простая музыка*, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказа и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером. Он понимал, что тут предстоит акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выражение готовности.

Таким образом оказывается, что, как ни велика наша талантливость, все-таки она может считаться действительною лишь до тех пор, пока существует беспредметность профессий или, говоря другими словами, куда можно все сапоги шить на одну ногу. Как скоро давальцы начнут требовать сапогов, шитых по мерке, никакие приказания не помогут нашей готовности. Еще Петр Великий изволил приказать нам быть европейцами, а мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье, да и тут все раздумываем: не рано ли? да впору ли будет? — Как хотите, а горше этой формулы самоуничтожения даже выдумать трудно.

От чего же мы отбояриваемся? что защищаем? Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказания Петра Великого: быть всем россиянам европейцами, — так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох. Но именно это-то пустое место и дорого нам. Раскольники, современные Петру, — и те лучше были, ибо говорили: мы

хотим пахнуть по-своему. Мы же ничего не говорим, а просто-напросто с пустом в пусто лезем. И выходит, что мы тоже пахнем, только пахнем нежилым местом.

И вот, недалеко от нас глухая стена. Сапожник начинает смутно понимать, что сколько есть на свете ног, столько же должно быть и сапогов; администратор, судья, финансист догадываются, что сзади их профессий есть нечто, что движется и заявляет о своей конкретности, что требует, чтоб к нему, а не его примеривали. В хаосе безразличия, в котором еще так недавно витал некоторый сам себе доверяющий дух, начинают выясняться отдельные образы, которые с изумлением смотрят на стену, воздвигнутую вековой русскою готовностью. И вспоминается им многострадальная история этой готовности. Вспоминается, как они, бия себя в перси, на целый мир возглашали: мы люди серые, привычные! нас хоть на куски режь, хоть огнем пали, мы на все готовы! Вспоминается, как они суетились, разоряли, громили, жгли — и все это без ненависти, без злобы, даже без мысли, единственно ради похотливого желания доказать, сколь талантлив может быть человек, когда знает, что его за эту талантливость не подвергнут телесному наказанию. "Многое мы совершили, многое претерпели, — говорят они, — а в результате все-таки стена — и ничего более!"

Эта стена, однако ж, не с неба свалилась и не из земли выросла. Мы имели свою интеллигенцию, но она заявляла лишь о готовности следовать приказаниям. Мы имели так называемую меньшую братию, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказаниям. Никто не предвидел, что наступит момент, когда каждому придется жить за собственный счет. И когда этот момент наступил, никто не верит глазам своим; всякий ощупывает себя словно с перепоя и, не находя ничего в запасе, кроме талантливости, кричит: "Измена! бунт!"

Есть три способа избавиться от глухой стены. Первый заключается в том, чтобы признать прихотливыми все требования жизни, которые почему-нибудь нам не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человека, который дал бы верить себя, что ощущаемые им потребности прихотливы), но если б даже мы решились поддерживать ее, то и тут необходимо прежде всего понимать, в чем заключаются приводящие в затруднение потребности, откуда они пришли и почему могут быть сочтены прихотливыми. Одним словом, необходимы ум и знание. Другой способ (тоже не весьма надежный) заключается в том, чтоб уверить общество, что положение у глухой стены есть самое выгодное для него положение. Этот тезис еще труднее, но и его защитить не невозможно, если есть знание объекта беседы и подготовленность к принятию возражений. Опять-таки знание и ум. Наконец, третий способ представляется в откровенном признании законности вновь народившихся потребностей и в приискании для них правильного исхода. Этот способ самый надежный, но тут уже просто-напросто требуется ума палата.

Какой бы из этих трех путей ни был избран, во всяком случае, талантливость играет здесь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть — ничего она собственною силою не может. Везде на первом плане требуется знание, пример, навык. Они одни могут дать содержание талантливости, и в некоторых случаях даже обуздать ее стремительность. Человек, который на одной талантливости возидает здание своего будущего благополучия, — это человек, у которого есть пламенное сердце, но в этом сердце нет ничего, кроме погадки готовности. С этой погадкой ему предстоит

одно из двух: или удивить мир продерзостью, или наполнить вселенную злово­нием. По-видимому, это очень большой риск. Но мы убедимся, что тут даже риска никакого нет, если примем в соображение, что снежежничать, во всяком случае, легче, нежели совершить подвиг. А талантливость именно тем и отлича­ется, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые легкие. Божку съесть, вавилонскую башню проектировать — вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какою легкостью выступают эти люди вперед! Как они заранее трубят о победе, как клянутся голыми руками потушить пылающий костер!

И чем больше предвкушение торжества, тем больше малодушия, ненависти и подозрительности при первом неуспехе. Эта последняя черта очень опасна, потому что почва бунтов и измены, на которую вступает потерпевшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ее уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый субъект желает им сообщить. С произнесением краткого и в то же время совершенно неопределенного звука приобретается и исходный пункт, и материал для наполнения всей последующей карьеры. Затем уже следу­ют обуздания...

А что же, кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?

-

Представьте себе такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: "Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку".

Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все­таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего ве­роятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы, и затем постарается кончить это дело измором.

Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: "Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!"

Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою.

Митрофаны не изменились. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик; они пре­зирают географию, потому что чучер доведет их куда будет приказано; они небрегут историей, потому что старая нянька всякие истории на сон грядущий расскажет. Одно право они упорно отстаивают — это право обуздывать, право свободно простира­ть руками вперед.

Митрофан на все способен, потому что на все готов.

Он специалист по части гражданского судопроизводства, потому что занимал деньги и не отдавал оных.

Он специалист по части уголовного судопроизводства, потому что давал за­трещины и получал оные.

Он специалист по части администрации, потому что знает такие ругательства, которые могут в одно мгновение опалить человека.

Он специалист по части финансов, потому что все трактиры были свидетеля-

ми его финансовых операций.

Он медик, потому что страдал секретными болезнями.

Он акушер, потому что видал нагих женщин.

Все профессии он изучил на своих собственных боках с такой основательностью, что даже получил название «выжиги». «Выжига» — это совсем не ругательный, а, скорее, деловой термин, означающий мужа совета. "Уж коли такая «выжига» не поможет, — говорят вам, указывая на X. или Z., - то дело твое пропащее". Вы обращаетесь к «выжиге», и, к изумлению вашему, он действительно помогает вам. Это до того удивительно, что вам непременно приходит на мысль, что и этот «выжига», и средства, которые он употребляет, и ваше дело, и вы сами — все это, взятое вместе, не стоит ломаного гроша. Все это какой-то безобразный мираж, способный поселить в душе не то отчаяние, не то презрение ко всему: к жизни, к себе самому...

Дайте «выжиге» рубль серебра, он заложит душу черту; дайте пять рублей

— он сам сделается чертом. Ему и это сделать легко, потому что он один в целом мире знает, где найти черта и что у него просить.

Это ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни и умеет до такой степени прочно внедриться всюду, что, несмотря на свою беззубность, успевает сделаться необходимым человеком и подлинным мужем совета.

И все благодаря лишь тому, что простота задач продолжает привлекать все сердца.

Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется им наполненной скороспасающимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить. Но к кому же обратиться? Кто возьмет на себя трудное обязательство сражаться против козней некоедействующих и крамол некрамольствующих? Кто, кроме Митрофана, этого вечно талантливого и вечно готового человека, для которого не существует даже объекта движения и исполнительности, а существует только самое движение и самая исполнительность? Налетел, награл, ушиб — а что ушиб? — он даже не интересуется и узнавать об этом...

Времена усложняются. С каждым годом борьба с жизнью делается труднее для эмпириков и невежд. Но Митрофаны не унывают. Они продолжают думать, что карьера их только что началась и что вселенная есть не что иное, как вымороженное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами. Каким образом могли зародиться все эти смелые надежды? где их отправный пункт? Увы! уследить за этим не только трудно, но даже совсем невозможно.

Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если б вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением. Но так как вчерашнего дня нет, так как последовавшая за ним ночь принесла за собой хмельное забвение всего прошлого, то нет места ни для поучений, ни для укоров. Представьте себе пропойца, который встает с постели с разбитым лицом, с угнетенною виновными парами головой, весь подавленный чувством тупого са-

моотсутствия, которое не дает ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, где он и кто он. Если б этот человек мог помнить, если б он мог ясно представить себе все подробности безобразий прошедшего дня, быть может, тут произошла бы потрясающая драма. Но так как он ничего не помнит, ничего себе не представляет, то чувствует только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, он снова возвращается к вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальной точностью. В этой безнадежной картине заключается единственно возможное объяснение всего Митрофанова существования.

Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующей минутой. Его наглость не есть наглость, легкомыслие не есть легкомыслие. Это сейчас родившийся, и притом совершенно порожний, человек, об которого, как о каменную скалу, разбивается принцип вменяемости. Его действия можно было бы сравнить с проявлением стихийной силы, но даже и это сравнение оказывается неуместным, потому что задача стихии — бессознательное разрушение рядом с бессознательным творчеством, а задача Митрофана — одно бессознательное разрушение! Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем.

В XVIII веке Митрофан впервые выступил на дорогу деятельности во всем блеске своей талантливости. В эту достопамятную эпоху со всех сторон сыпались на него стрелы просвещения, и он с какою-то ребяческой отвагой подставлял им свое рыхлое тело. Но в действительности он облюбовал только одну из них, а именно ту, которая называется табелью о рангах, и в ней замкнул весь смысл своего существования. Все, что стояло рядом с этой табелью, все математики, химии, механики, фортификации и проч., о насаждении которых, с железом в руках, хлопотал Петр Великий, — все это только внешним образом окатило Митрофана, оставив в его теле лишь легкий озноб. Но табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этой табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чиноначалии и заражая самые убогие хижины своею просветительною деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти презренно светились прочие вопросы жизни, то есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом; источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества; стихии бесконтрольно господствовали над трудом и жизнью человека, а Митрофан ничего не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества.

Только долготравековой искус мог пошатнуть это убеждение и возбудить сомнение насчет живоносных свойств табели о рангах. Но так как это была единственная форма западноевропейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и так как с нею отождествилась идея о просвещении, то весьма естественно, что сомнение в ее доброкачественности распространилось огулом и на все прочие результаты, выработанные цивилиза-